

«Главное противоречие нашего общества — между огромным интеллектуальным потенциалом и невозможностью его реализовать»

Григорий Алексеевич Рапота — видный государственный деятель России. С декабря 2011 года он занимает пост Государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси. Огромный жизненный и политический опыт придают особую значимость мнению Г. А. Рапоты по важнейшим вопросам современной внешней политики — как в рамках Союзного государства и СНГ, так и в мире в целом. В канун Нового, 2015 года главный редактор «Свободной Мысли» М. Г. Делягин побеседовал с Г. А. Рапотой о внешнеполитических итогах уходящего года и о перспективах года нынешнего.

— *Последние годы очень популярны разговоры о вступлении человечества в некий качественно новый период своего развития. Согласны ли Вы с этим, или же это просто проявление своего рода «мании величия» очередного поколения, которому хочется отличаться от всех предыдущих и которое готово ради этого даже на преувеличение болезненности собственных проблем? Действительно ли сейчас мы переживаем новый этап, или же нечто подобное переживали до нас тысячи раз?*

— Думаю, человечество всегда переживает новый этап. Оно же развивается, и каждую минуту, и каждый год, и каждое десятилетие и тем более каждое столетие можно расценивать как новый этап.

Другое дело — темпы нашего развития: бывают скачки очень заметные, а бывают более плавные переходы.

Нынешний этап, как представляется, отмечен переосмыслением общего миропорядка. Наверное, нас подтолкнули к этому события в Ливии, Сирии, Ираке, Египте, а также и на Украине. Заново переосмысливается расстановка сил в мире, в частности определение основных игроков и аутсайдеров.

Не случайно сейчас много говорится о возрастающей роли Китая — как еще на памяти моего поколения, 30—50 лет назад, говорили о двух центрах силы — Соединенных Штатах и Советском Союзе. Сейчас все меняется, и в этом смысле мы переживаем какой-то особый этап. И мое пожелание — чтобы у нас все это происходило не столь болезненно, как происходит. Хотя это, наверное, идеалистический подход.

— В свое время меня учили, что технологии (грубо говоря, производительные силы) во многом определяют устройство общества (грубо говоря, производственные отношения). Мы видим сейчас, что бурное развитие новых технологий (в первую очередь компьютеров, мобильной связи, социальных сетей) сопровождается очень существенным изменением общественной жизни на всех ее уровнях: начиная с кризиса обыденной морали и кончая подрывом международного права, когда, например, бомбят Ливию, и никто не возмущается по этому поводу. Для меня, кстати, это был очень существенный момент, потому что, если при нарушении международного права в его защиту никто не выступает, оно оказывается как бы исчезающим.

В какой степени, на Ваш взгляд, социальные изменения объективно обусловлены технологическими изменениями, а в какой они носят исторически случайный, а потому поддающийся исправлению характер? Что из происходящего сейчас в мире можно исправить, а что объективно обусловлено технологическим развитием?

— Факт влияния развития технологий, особенно информационных, на сознание человечества и на общественную культуру совершенно очевиден. Например, мы за очень короткий период времени получили благодаря Интернету доступ к огромному количеству информации. Вместе с тем, если рассматривать предложенный Вами пример Ливии, неясно, почему человечество не реагировало на подобные события в прошлом, а вот сейчас должно реагировать. Раньше тоже было много событий, на которые реагировали слабо или вообще никак.

В Ливии произошли свержение правительства, уничтожение руководства страны и насильственная смена государственного строя с помощью внешних сил, причем в очень открытой форме. Но я просто не вижу взаимосвязи этих событий с техническим прогрессом. Это скорее связано с тем, что было бы и без технического прогресса. Скажем, Соединенные Штаты всегда чувствовали себя хозяевами положения в мире. И в данном случае они воспользовались этим, и никто им должным образом не возразил и не помешал. И здесь возникает вопрос скорее к политикам, нежели к общественному сознанию.

В конце концов, почему крестьяне, живущие в Костроме, выращивающие там гречку или рожь, должны быть очень уж взволнованы событиями в Ливии? В принципе они могут иметь доступ к этой информации, но события там, как это было и ранее, далеки от их бытия.

Поэтому я бы не связывал так тесно развитие технологий с событиями в Ливии.

— Вы сказали о внешних силах. Совершенно очевидно, что это США и НАТО. Видите ли Вы в поведении американцев некое усиление агрессивности во внешней политике?

— В поведении американцев я не вижу ничего нового по сравнению с тем, что происходило ранее. Они руководствуются привычной для них идеей миссионерства: «мы несем человечеству свободу, причем любой ценой». Мне представляется, это сидит очень глубоко

в сознании этого народа, и в Ливии оно просто проявилось в полной мере — как до того в Ираке или Египте, в Афганистане, да и, в какой-то степени, на Украине.

И никто не задается вопросом: а что из этого в конечном счете хорошего получилось? Повоевали за принципы — а результат-то какой? В Ираке мы очень хорошо видим эти результаты. Понятное дело, в 1990 году все возмутились поведением Ирака в отношении соседнего Кувейта. Но последовавшая затем реакция изменила весь образ жизни этой страны, просто разрушила его. В результате получили то, что сейчас именуется Исламским государством.

Мои личные впечатления (а я бывал в Ливии до революции) заключаются в том, что более жесткого режима по отношению к радикальным исламистам надо было еще поискать. Я не идеализирую Каддафи — его режим был тоталитарным или авторитарным (можно характеризовать практически как угодно); но, по крайней мере, это была устойчивая общественная структура, которая соответствовала менталитету людей, там живущих. И этот уклад был буквально в одночасье разрушен — а вместо него воцарился хаос.

То же самое случилось в Ираке.

— Международная политика меняется. В частности, возникает ощущение, что государство утрачивает свое значение, — по крайней мере, кроме американского государства. С одной стороны, растет роль народных масс, региональных властей, разнообразных социальных сетей и даже сект — одна из них, как мы видим на примере Исламского государства, даже создала свою государственность.

Международная политика меняется.

В частности, возникает ощущение, что государство утрачивает свое значение — по крайней мере кроме американского государства.

С другой стороны, надгосударственный бизнес становится колоссальной и притом почти невидимой силой. Несколько лет назад швейцарские исследователи выделили ядро мировой экономики в тысячу с небольшим компаний, которым принадлежит основная часть мирового бизнеса. А российские аналитики, занимаясь изучением украинского кризиса, вдруг обнаружили огромное влияние малоизвестной компании Vanguard: она является крупнейшим акционером Google и монополией по производству генетически модифицированных семян Monsanto, которая в свою очередь владеет крупнейшей воюющей на Украине американской частной военной компанией. В результате получается совершенно невообразимая связка.

Как могут меняться типаж и ключевых участников мировой политики? Не ждет ли нас переход от противостояния государств как стержня мировой политики — грубо говоря, от американо-китайской конкуренции — к противостоянию в качестве такого стержня совершенно разнородных структур, например инвестиционного банка и крупной религиозной секты?

— Я безуспешно пытаюсь себе представить, как инвестиционный банк может впасть в противоречие с крупной религиозной сектой.

— Ну, например, были у него инвестиции в каком-нибудь условном Ираке, а в результате деятельности секты они исчезли.

— Я не очень верю в сатанинскую силу каких-то сект. Эти страшилки могут иметь воздействие лишь на наивных, глубоко не задумывающихся над причинно-следственными связями людей. В Ираке инвестиции сначала пропали после свержения Хуссейна и смены режима, ни о какой секте в это время не шла речь. Но потом ситуация начала стабилизироваться, начала отстраиваться новая общественная структура — худо-бедно, пускай и с взрывами мечетей и гибелью людей. И лишь потом власть взяли те, кого Вы называете крупной религиозной сектой. Но эта, с позволения сказать, секта является, на мой взгляд, не причиной и источником напряжения, а скорее всего следствием неких более глубоких общественных противоречий или, по словам Хантингтона, конфликта цивилизаций.

— А как бы Вы объяснили рост сепаратистских стремлений в таких, казалось бы, благополучных европейских странах, как Великобритания, Бельгия, Испания?

— Мне кажется, это становится возможным потому, что желающие отделиться люди не боятся потерять связь с метрополией, не боятся быть брошенными ею. В любом случае (сознательно или подсознательно) они чувствуют себя в безопасности в общем европейском доме. По их представлениям, в случае их отделения все останется прежним — просто они получают некоторые дополнительные выгоды.

Шотландцы, желая отделиться от Великобритании, хотят просто улучшить этим свое положение за счет сохранения у себя большей части налогов. Однако они убеждены, что все остальное останется прежним: они так же будут ездить в Лондон, посещать театры и магазины; а англичане точно так же будут приезжать в Шотландию на охоту и рыбалку. В их представлениях отделение от Великобритании не приведет к сколь-нибудь серьезным изменениям картины мира — и потому они так спокойно и, может быть, даже бесшабашно идут на обсуждение этой возможности.

— Да, это отнюдь не конец света. Кстати, главный аргумент Лондона заключался в том, что в случае отделения Шотландия уже не будет членом Евросоюза.

— Да, но при этом шотландцы будут так же свободно ездить абсолютно по всей Европе. Если б была опасность, что перед ними закроются

двери, они бы десять раз подумали, стоит ли затевать отделение. Но такой опасности нет: они как ездили, так и стали бы ездить даже в случае отделения, как торговали, так и продолжили бы торговать, как продавали свой виски, так и стали бы продавать его, а может быть, еще и подождать. Может, они надеются еще и больше на этом заработать. Ведь они мало чем рискуют. А когда люди понимают незначительность рисков, они легко воспринимают возможность изменений. Если бы им грозило резкое ухудшение социального положения, они задумались о том, стоит ли вообще поднимать голову. Возможно, это одно из проявлений того, что мы называем глобализацией.

— Современные технологии, прежде всего информационные, резко повышают производительность труда. Их распространение ведет к снижению числа работников, нужных для производства потребляемого человечеством объема материальных благ и услуг. В результате даже в развитых странах происходит либо сокращение среднего класса из-за его обеднения, либо как минимум прекращение его роста. Единственная страна, где он продолжает увеличиваться, — Китай. Между тем спрос среднего класса является основой современной экономики, и совершенно не ясно, что с ней будет, если он продолжит беднеть. Аналогично, интересы современного среднего класса являются основой современной демократии.

Получается, что продолжение сокращения среднего класса приведет к переходу в некое новое состояние и рыночной экономики, и демократии, к которым мы привыкли стремиться. Что будет с миром в результате этих процессов? Как они будут выглядеть?

— Не знаю, что будет происходить с миром, но нам пока это не грозит. Да и мир — он разный: возьмите Африку, Латинскую Америку, ту же Россию — огромную территорию, где еще среднему классу расти и расти. В Китае, Вы сами говорите, он еще растет; в Индии, наверняка, тоже рост идет. Поэтому давайте этот период просто попробуем пережить.

Честно говоря, над этим вопросом я ранее не задумывался — для меня он нов и очень интересен. Насколько можно понять, подтекст заключается в том, что отсутствие среднего класса в тех критических размерах, которые обеспечивают демократию, может привести к авторитарной и олигархической системам, когда миром будут править только крупные корпорации, обеспечивающие высочайшую производительность труда?

— Да, а основная масса населения будет жить за счет социальной помощи — большей или меньшей.

— И возможно, людей это вполне будет устраивать.

— Ну, практика показывает, что людей, которые в Великобритании и во Франции уже на протяжении жизни нескольких поколений живут на пособия, это очень даже устраивает, и они категорически не хотят работать.

— Да и в США уже есть целые поколения, выросшие на пособиях. Поэтому, если всех это будет устраивать, все будет нормально.

А почему такое положение не должно устраивать, например, ученых? Скажем, корпорации обеспечивают высокую производительность труда и платят высокие налоги, которые тратятся на науку. Ученый сидит, работает в своей лаборатории, его обеспечивают всем необходимым, и он счастлив. Почему он должен быть опечален этим обстоятельством?

Учитель преподает в школе, получает высокую зарплату за счет высокой производительности труда крупных компаний и счастлив. Дети, которые к нему ходят, — тоже.

Почему бы и нет? Такая ситуация вовсе не обязательно должна быть плохой, — я просто не знаю. Она может противоречить моему представлению о жизни, в которой все-таки должны быть какая-то гражданская активность и стремление к самореализации; но я вижу, что далеко не все люди к этому стремятся даже сейчас. И количество таких людей может увеличиться вплоть до наступления в обществе равновесия между теми, кто хочет работать, и теми, кто живет за счет государства (дети, пенсионеры, инвалиды), или чей труд оплачивается государством (врачи, учителя, военные, госслужащие).

Отдельная категория — те, о ком сказали Вы, — живущие на пособие из поколения в поколение и не желающие работать. А по существу — бездельники.

— А потом однажды они проголосуют.

Хотя с ними иногда умеют обращаться. Скажем, в Лондоне — когда там были массовые беспорядки, после которых пришлось восстанавливать целый квартал в центре, мой знакомый попал в эту толпу. Он мне потом перезвонил через два года, специально чтобы сообщить радостную для него новость: оказывается, лондонская полиция — абсолютно без шума, без политических заявлений, без истерик — по записям видеокамер выявила всех участников этих беспорядков; и все, нарушившие закон, даже в части неподчинения полиции, получили сроки — пусть небольшие, но лишения свободы. Из принципа, чтобы знали: что можно делать, а что нельзя.

— Это говорит о высоком профессионализме. Причем этот вопрос не имеет идеологической окраски.

— Проблема в том, что, когда человек перестает работать и сидит на социальное пособие, он потихоньку сходит с ума. Не сразу, но во втором-третьем поколении.

— Это правда, я согласен. Потому что он теряет смысл существования.

— И как им управлять — не очень понятно. Во многих общественных конфликтах последнего времени — например на киевском Майдане — мы увидели массы людей, которые последовательно и отчасти вполне сознательно выступали против своих материальных интересов ради

тех или иных эмоций. У меня было несколько знакомых на Майдане, которые участвовали в нем не за деньги, а сознательно. Это были малые или даже, по нашим меркам, средние предприниматели Юга и Востока, у которых отняли их бизнес. Причем самое страшное впечатление у них было не от того, что у них отняли предприятия, с которыми они себя идентифицировали, а от того, что, отняв, их немедленно разрушили.

И они участвовали в Майдане и говорили, что понимали: в результате им будет только хуже. Но они шли на это вполне сознательно, так как главное для них было уметь эту власть, которая их ограбила, отомстить ей. То есть взрослые, достаточно развитые, рефлексирющие люди сознательно жертвовали своими интересами ради эмоций. Насколько это устойчиво, насколько это ново, чем это вызвано и куда может привести? Потому что меня-то учили, что в основе поведения людей лежат интересы, а не эмоции.

— Давайте договоримся о терминах. Я бы назвал две категории: интересы базовые, прежде всего экономические, — и ценности. Когда конфликт переходит из конфликта интересов в конфликт ценностей, может произойти все что угодно. Яркий пример — Чеченская война. Когда начался этот конфликт, Вы помните эти фальшивые авизо, масштабные мошенничества, связанные в том числе с выводом денег из Москвы за рубеж через Чечню?

Уже тогда эксперты, в первую очередь в спецслужбах, почувствовали опасность, что над этим конфликтом будет поднят исламский флаг. Это привело бы к его перерастанию в конфликт ценностей, что вовлекло бы людей, не связанных с конфликтом интересов и просто не интересующихся вопросами авизо и вообще денег. Это было бы страшным изменением самой природы конфликта.

Я не изучал глубоко ситуацию на Майдане — у меня несколько иная сфера деятельности. Но как читатель я видел, что там изначально было и то, и другое. Были люди, чье благополучие было задето, ухудшено или разрушено. Они пришли на Майдан, так как считали, что изменить ситуацию к лучшему можно, только свергнув правительство или поменяв его, установив новые правила игры в стране. Я отношусь с пониманием к таким вещам, но только пока это не связано с кровопролитием — тут уже у участников появляются иные мотивы: чувство мести, страх, ожесточение.

Как всегда в таких случаях, на авансцене появляются маргиналы, которые примыкают к возникшей волне возмущения и, не встречая противодействия, могут существенно изменить вектор развития событий. Ценностная и материальная мотивации на Майдане соединились с самого начала.

— *Сейчас много говорят о проблемах и пороках современного мира, о том, какие стороны общественной жизни стали хуже по сравнению со временем до распада Советского Союза и начала глобализации. А вот что в общественной жизни — как нашей страны, так и всего мира, — стало лучше за последние четверть века?*

— Вы знаете, «хуже/лучше» — это слишком индивидуальная оценка. Одному стало лучше, а другому в результате того же самого процесса стало хуже. Скажем, если нефтяные ресурсы перешли за копейку в руки человеку, который в результате стал жить счастливо, — ему, безусловно, стало лучше. А тому, кто в результате остался без работы, стало хуже.

Правда, если новый владелец разумно распорядился полученным ресурсом, улучшил производительность труда и материальный достаток людей, которые работают у него в компании, то в этом случае обычно человеку тоже стало лучше. Тут все очень индивидуально. Вот у меня, например, родители — ветераны войны, конечно, болезненно переживавшие распад Советского Союза, как и все мы, кто вырос и жил в тех условиях. Болезненно воспринималось и плохое отношение к ветеранам в первое после распада СССР время.

Затем постепенно жизнь стала приходить в норму, и они, например, искренне радовались тому, что в магазинах без осточертевших в советский период очередей можно купить все необходимое. Это колоссальное достижение, которое стал ценить только тот, кто переживал это унижительное, иногда многочасовое стояние в очередях или записывал номер очереди на ладони. Я это ненавидел с детства. И много раз говорил себе, что готов поставить памятник человеку, который избавит нас от очередей.

Конечно же, нам пришлось очень сильно менять свои подходы к жизни. В нас очень глубоко сидит то, что ученые называют патерналистской психологией: государство за нас о нас позаботится. И что хуже всего — за нас подумает и скажет, что делать. Это, видимо, не скоро выветрится из нашего сознания. Особенно печально, что это прочно сидит в сознании того поколения, которое и не жило еще при Советской власти. Мне, например, в студенческих аудиториях задавали такой вопрос: а когда будет принят закон о молодежи, в котором для выпускников вузов была бы выделена определенная квота рабочих мест, в том числе в муниципальных и государственном управлении, чтобы им сделали то-то и то-то, чтобы у них были такие-то и такие-то преференции?

Приходилось говорить, что у молодежи, наверное, иная стезя: быть ответственным за свою страну — за инвалидов, за престарелых, за семью и государство. С 18 лет армейская молодежь, например, отвечает за безопасность страны. А 22-летний выпускник говорит о преференциях для себя.

— Да, я с таким не сталкивался. Сталкивался с абсолютной боязнью мышления у молодежи, с клинической безграмотностью...

— Это, между прочим, взаимосвязано.

— Но желание приравнять себя, приравнять молодежь, по сути дела, к инвалидам... Вот же не было печали. Это даже не патернализм, а потребительское отношение к жизни. Ведь в рамках патернализма — я помню, нас в школе учили, — у нас очень много разнообразных прав, но возникают они только в результате выполнения нами своих обязанно-

стей. Это нам прямо с 9-го класса вбивали в голову: сначала обязанности и только потом, как их результат, — права.

Да, при доминирующем потребительском отношении к жизни развитие будет блокироваться не какой-то ужасной коррумпированной бюрократией, не монополиями, а каждым отдельно взятым человеком, «в каждой точке»: стопором будет каждый отдельно взятый человек. Это как песок в подшипник. И отсюда мы плавно переходим к следующему вопросу.

Какие основные задачи предстоит решить нашему обществу? Понятно, что задач перед нами безбрежное множество, но каковы главные, на Ваш взгляд? Каковы наши ключевые возможности и проблемы, что нам грозит, и в целом — каковы перспективы России?

— Это вообще-то вопрос не совсем ко мне.

— *Нет, это вопрос к Вам не как к чиновнику, а как к человеку, причем с колоссальным и весьма разнообразным жизненным опытом.*

— Представляется, что одна из задач нашего общества — ликвидировать противоречие между огромным интеллектуальным потенциалом и невозможностью его реализации.

У нас талантливые ученые, инженеры с огромным количеством замечательных идей на уровне мировых передовых позиций. Но если они и пробиваются в жизни, то не благодаря существующей системе, а вопреки ей. Если нам не удастся соединить наши интеллектуальные возможности с системой их адаптации к жизни, практической реализации, с производством, то ничего хорошего нас не ждет. Если же сумеем — сможем без лишних потерь выйти на достойный уровень развития.

— *Теперь переходим к Вашей сфере деятельности в настоящее время. Расскажите, пожалуйста, каковы главные достижения Союзного государства России и Беларуси, каковы его перспективы в целом и в частности — в рамках развития Евразийского экономического союза?*

— Еще в бытность работы в Евразийском экономическом сообществе я сам перед собой ставил такой вопрос: а, собственно, что является основным показателем успешности интеграционного процесса для простых людей? И ответ нашел в том, что главным критерием успеха интеграции для обычного человека является ощущение свободы и комфорта на всей территории соответствующего интеграционного объединения — это свобода передвигаться, выбирать себе место жительства, решать какие-то вопросы повседневной жизни и при этом чувствовать себя дома. Думаю, для внутреннего ощущения каждого человека это самое главное.

Ведь все остальное не так видно в повседневной жизни. Скажем, таможенно-тарифное регулирование, при всей его значимости, весьма слабо чувствуется, хотя, конечно же, является прочной основой и стабильности цен, и качества товаров, и вообще устойчивости экономического развития.

Так вот, эту задачу обеспечения интеграции с точки зрения интересов обычного человека наиболее успешно решает интеграционное объединение в рамках того проекта, который называется «Союзное государство». Фактически ликвидированы таможенный и пограничный контроль. Люди свободно передвигаются из одного государства в другое без предъявления паспорта.

Все это создает ту комфортную среду жизни, которую люди, привыкнув к ней, даже порой не замечают.

— *Да, к хорошему привыкаешь и быстро перестаешь его замечать — по себе знаю.*

— Белорусы не чувствуют себя иностранцами в России, а россияне — в Беларуси. Они свободны в передвижении, выборе места жительства, получении образования, включая выбор высшего учебного заведения, получении медицинского обеспечения. В области пенсионного обеспечения решены пока еще не все вопросы, но сделано очень много, и базовые проблемы решены.

Можно было бы в связи с достижениями Союзного государства говорить и о взаимодействии в сферах экономики, внешней политики, о научно-техническом сотрудничестве, культурных связях и многом другом. Но все же решение проблемы равных прав — это, пожалуй, самое главное. Перспективы же вполне очевидны: прежде всего усиливать социальную составляющую интеграции, там есть еще над чем работать.

Второе направление — интеграция национальных экономик, в первую очередь промышленности. Предполагается, например, проведение единой промышленной политики. Тут много работы хотя бы потому, что суть промышленных политик законодательно не до конца закреплена в наших странах. А ведь мы работаем прежде всего в юридическом поле, гармонизируя те элементы национальных политик, которые зафиксированы юридически.

— *Некоторые мои знакомые, посещая в последние годы Белоруссию, обращают внимание на то, что естественный, правильный, нормальный патриотизм иногда перерастает в национализм. Дошло, в частности, до того, что не какие-нибудь оппозиционеры, а официальные белорусские историки провозгласили необходимость отказаться от термина «Отечественная война 1812 года», так как это-де была русско-французская война, к которой Белоруссия не имела никакого отношения.*

И много подобных идей продвигается и внедряется в общественное сознание современной белорусской интеллигенцией, поддерживаемой и окормляемой государством, ни в коем случае не оппозиционной. Насколько эта тенденция опасна, насколько она поддерживается белорусским государством и будет ли она влиять на наши двусторонние отношения?

— Я не думаю, что стремление как-то переосмыслить историю, по-новому взглянуть на нее нужно обязательно воспринимать как национа-

лизм. Мы не можем раз и навсегда зафиксировать какое-то определенное восприятие исторических событий и оставить его без изменений на веки вечные, установив, что другого прочтения истории и быть не может. Поэтому осмысление итогов тех или иных исторических процессов, в том числе и событий Отечественной войны 1812 года, — это совершенно нормально.

Я пока не вижу основания для какой-либо тревоги. В то же время рост и установление некоего национального самосознания в рамках независимого суверенного государства — совершенно нормальный, естественный, объективный процесс, который мы должны учитывать в своей работе.

— *Приношу извинения, но позвольте Вас перебить, чтобы привести иллюстрацию сказанного Вами. Когда Белоруссия несколько лет назад не признавала Абхазию, а совсем недавно высказывала свое мнение по поводу украинских событий, ко мне за комментариями по этому поводу регулярно обращались российские журналисты. И когда я напоминал им, что Белоруссия — суверенное государство со своей внешней политикой, которое к тому же весьма уязвимо со стороны Украины, мои собеседники, часть из которых родились уже после распада Советского Союза, всякий раз очень сильно удивлялись.*

— Журналисты, вероятно, бывают разные — некоторые забывают, что мы имеем дело с суверенными государствами.

— *Взгляд, как на кого-то зависимого. Я говорю: «Ребята, это другое государство. У них своя жизнь — и очень непростая, между прочим, у них своя политика. И у них своя экономика, своя социальная политика, своя внешняя политика. Это нормально для государства, это не просто его право — это его обязанность перед своим народом». Но журналисты все равно удивляются.*

Оказали ли трагические события на Украине влияние на развитие Союзного государства и в целом на отношения России и Белоруссии, и если да, то какое именно?

— Если одним словом, то, по-моему, укрепились отношения между Россией и Белоруссией. Мы стали больше ценить достигнутое, потому что воочию увидели, насколько хрупко то, что мы называли «славянским братством», или просто «братством», — как угодно. И когда мы увидели, что это братство может так легко разрушиться, россияне и белорусы, по-моему, стали друг к другу намного внимательнее относиться.

— *Скажите пожалуйста, о чем я забыл Вас спросить, а Вы хотели сказать?*

— Надо развить тему будущего, которое открывается перед Союзным государством, в свете его взаимоотношений с другими интеграционными структурами. Здесь ведутся широкие дискуссии; порой высказывается предположение, что «тройка», условно говоря, поглотит Союзное государство.

Однако эти дискуссии не новы. Начались они в 2001—2002 годах, когда было основано ЕврАзЭС. Тогда руководство структур СНГ очень сильно озаботилось этим фактом и с тревогой, и даже подозрительностью, воспринимало вопрос о будущем СНГ. Тем не менее все напряжения были очень быстро сняты совместно найденной формулой, отражающей жизненные реалии, по которой СНГ является «зонтичной» интеграционной структурой, под сенью которой, как говорили великие китайские мыслители, «расцветают сто цветов». И один из этих цветов — ЕврАзЭС с амбициями более высокой интегрированности и целями, идущими дальше целей СНГ.

В рамках Союзного государства происходит то же самое: оно объединяет два государства, которые в своих интеграционных устремлениях продвинулись значительно дальше, чем ЕврАзЭС.

Есть некоторые сферы деятельности, скажем военно-политическая, которые Евразийское экономическое сообщество, или, с 1 января 2015 года — союз, пока не затрагивает.

Таким образом, жизнь показала, что Союзное государство является своего рода пилотным проектом, полигоном, на котором отрабатываются те решения, которые могут быть в дальнейшем использованы в Евразийском экономическом союзе.

Могу привести много примеров таких решений.

Скажем, в рамках Союзного государства отсутствует пограничный контроль; и, когда его ликвидировали, это, естественно, повлекло за собой значительный объем необходимых организационных и юридических мероприятий. Таким образом, приобретен полезный опыт, который может пригодиться, если по этому пути пойдет Евразийский экономический союз.

Таково соотношение существующих интеграционных структур, и эти реалии признаны всеми. У нас хорошее сотрудничество и с Евразийской экономической комиссией, и с СНГ, и с ОДКБ. ◆